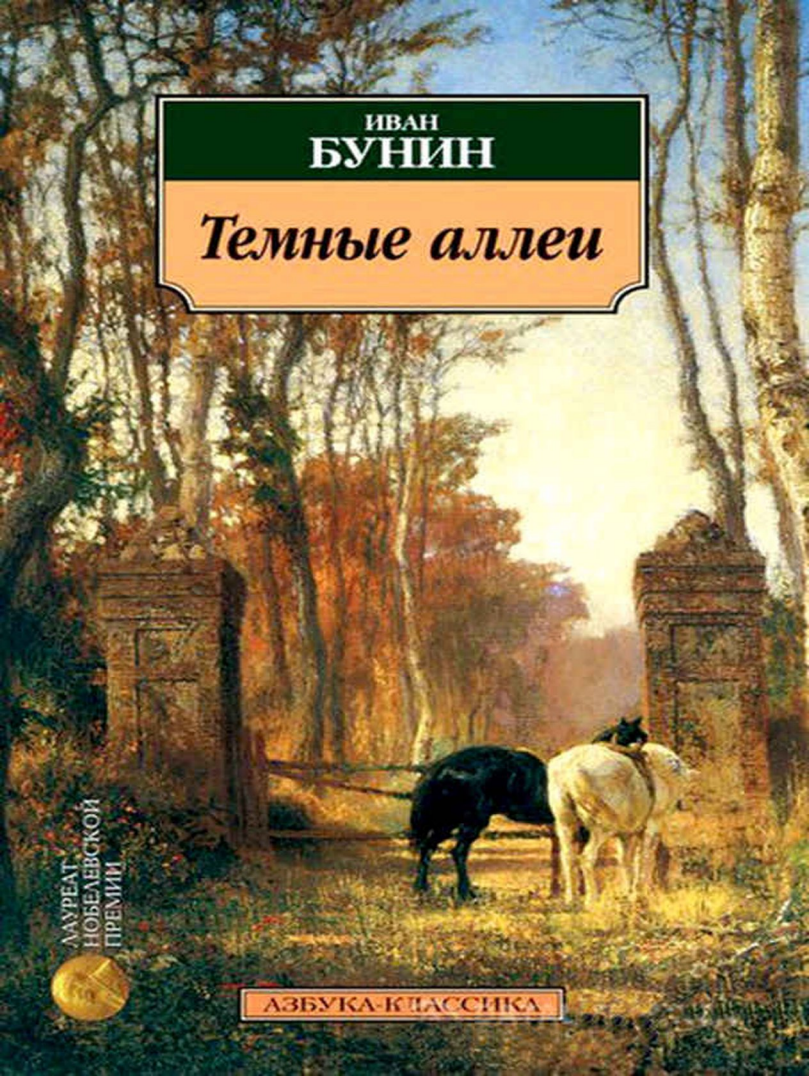
ИВАН
БУНИН
Темные аллеи
ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
АЗБУКА-КЛАССИКА

Таня

Иван Алексеевич Бунин

Аннотация
Таня

Аннотация

Он — обычный молодой человек, приезжающий погостить в небольшой деревенский домик из Москвы. Она — служанка в этом доме. Вместе они — нечто вроде запретного плода любви. Что они могут вместе пережить, когда на их пути встает расстояние и его странный характер?

Таня

Она служила горничной у его родственницы, мелкой помещицы Казаковой, ей шел семнадцатый год, она была невелика ростом, что особенно было заметно, когда она, мягко виляя юбкой и слегка подняв под кофточкой маленькие груди, ходила босая или, зимой, в валенках, ее простое личико было только миловидно, а серые крестьянские глаза прекрасны только молодостью. В ту далекую пору он тратил себя особенно безрассудно, жизнь вел скитальческую, имел много случайных любовных встреч и связей — и как к случайной отнесся и к связи с ней…

Она скоро примирилась с тем роковым, удивительным, что как-то вдруг случилось с ней в осеннюю ночь, несколько дней плакала, но с каждым днем все больше убеждалась, что случилось не горе, а счастье, что становится он ей все милее и дороже; в минуты близости, которые вскоре стали повторяться все чаще, уже называла его Петрушей и говорила о той ночи как об их общем заветном прошлом.

Он сперва и верил и не верил:

— Неужто правда ты не притворялась тогда, что спишь?

Но она только раскрывала глаза:

— Да разве вы не чувствовали, что я сплю, разве не знаете, как ребята и девки спят?

— Если бы я знал, что ты правда спишь, я бы тебя ни за что не тронул.

— Ну, а я ничего, ничего не чуяла, почти до самой последней минуточки! Только как это вам вздумалось прийти ко мне? Приехали и даже не взглянули на меня, только уж вечером спросили: ты, верно, недавно нанялась, тебя, кажется, Таней зовут? и потом сколько времени смотрели будто без всякого внимания. Значит, притворялись?

Он отвечал, что, конечно, притворялся, но говорил неправду: все вышло и для него совсем неожиданно.

Он провел начало осени в Крыму и по пути в Москву заехал к Казаковой, прожил недели две в успокоительной простоте ее усадьбы и скудных дней начала ноября и собрался было уезжать. В тот день, на прощанье с деревней, он с утра до вечера ездил верхом с ружьем за плечами и с гончей собакой по пустым полям и голым перелескам, ничего не нашел и вернулся в усадьбу усталый и голодный, съел за ужином сковородку битков

в сметане, выпил графинчик водки и несколько стаканов чаю, пока Казакова, как всегда, говорила о своем покойном муже и о своих двух сыновьях, служивших в Орле. Часов в десять дом, как всегда, был уже темен, только горела свеча в кабинете за гостиной, где он жил, приезжая. Когда он вошел в кабинет, она со свечой в руке стояла на его постели на тахте на коленях, водя горящей свечой по бревенчатой стене. Увидав его, она сунула свечу на ночной столик и, соскочив, кинулась вон.

— Что такое? — сказал он, оторопев. — Постой, что ты тут делала?

— Клопа жгла, — ответила она быстрым шепотом. — Стала оправлять вам постель, гляжу, а на стене клоп…

И со смехом убежала.

Он посмотрел ей вслед и, не раздеваясь, сняв только сапоги, прилег на стеганое одеяло на тахте, надеясь еще покурить и что-то подумать, — засыпать в десять часов было непривычно, — и тотчас заснул. На минуту очнулся, беспокоясь сквозь сон от дрожащего огня свечи, дунул на нее и опять заснул. Когда же опять открыл глаза, за двумя окнами во двор и за боковым окном в сад, полным света, стояла осенняя лунная ночь; пустая и одиноко прекрасная. Он нашел в су-

мраке возле тахты туфли и пошел в соседнюю с кабинетом прихожую, чтобы выйти на заднее крыльцо, — поставить ему на ночь, что нужно, забыли. Но дверь прихожей оказалась заперта на засов снаружи, и он пошел по таинственно освещенному со двора дому на парадное крыльцо. Туда выходили через главную прихожую и большие бревенчатые сенцы, этой прихожей, против высокого окна над старым рундуком, была перегородка, а за ней комната без окон, где всегда жили горничные. Дверь в перегородке была приотворена, за ней было темно. Он зажег спичку и увидал ее спящую. Она навзничь лежала на деревянной кровати, в одной рубашке и в бумазейной юбчонке, — под рубашкой круглились ее маленькие груди, босые ноги были заголены до колен, правая рука, откинутая к стене, и лицо на подушке казались мертвыми… Спичка погасла. Он постоял — и осторожно подошел к кровати…

Выходя через темные сенцы на крыльцо, он лихорадочно думал:

— Как странно, как неожиданно! И неужто она правда спала?

Он постоял на крыльце, пошел по двору… И ночь какая-то странная. Широкий, пустой, светло освещенный высокой луной двор. Напротив

сарая, крытые старой окаменевшей соломой, — скотный двор, каретный сарай, конюшни. За их крышами, на северном небосклоне, медленно расходятся таинственные ночные облака — снеговые мертвые горы. Над головой только легкие белые, и высокая луна алмазно слезится в них, то и дело выходит на темно-синие прогалины, на звездные глубины неба, и будто еще ярче озаряет крыши и двор. И все вокруг как-то странно в своем ночном существовании, отрешенном от всего человеческого, бесцельно сияющее. И страною еще потому, что будто в первый раз видит он весь этот ночной, лунный осенний мир…

Он сел возле каретного сарая на подножку тарантаса, закиданного засохшей грязью. Было по-осеннему тепло, пахло осенним садом, ночь была торжественна, бесстрастна и благостна и как-то удивительно соединялась с теми чувствами, что унес он от этого неожиданного соединения с полудетским женским существом…

Она тихо зарыдала, придя в себя и будто бы только в эту минуту поняв то, что случилось. Но может быть, не будто бы, а действительно? Все тело ее поддавалось ему, как безжизненное. Он сперва шепотом побудил ее: “Послушай, не бойся…” Она не слыхала или притворялась, что не

слышит. Он осторожно поцеловал ее в горячую щеку — она никак не отозвалась на поцелуй, и он подумал, что она молча дала ему согласие на все, что за этим может последовать. Он разъединил ее ноги, их нежное, горячее тепло, — она только вздохнула во сне, слабо потянулась и закинула руку за голову…

— А если притворства не было? — подумал он, вставая с подножки и взволнованно глядя на ночь. Когда она зарыдала, сладко и горестно, он с чувством не только животной благодарности за то неожиданное счастье, которое она бессознательно дала ему, но и восторга, любви стал целовать ее в шею, в грудь, все упоительно пахнущее чем-то деревенским, девичьим. И она, рыдая, вдруг ответила ему женским бессознательным порывом — крепко и тоже будто благодарно обняла и прижала к себе его голову. Кто он, она еще не понимала в полусне, но все равно — это был тот, с кем она, в некий срок, впервые должна была соединиться в самой тайной и блаженно-смертной близости. Эта близость, обоюдная, совершилась и уже ничем в мире расторгнута быть не может, и он навеки унес ее в себе, и вот эта необыкновенная ночь принимает его в свое непостижимое светлое царство вместе с нею, с этой близостью…

Как он мог, уезжая, вспоминать ее только случайно, забывать ее милый простосердечный голосок, ее то радостные, то грустные, но всегда любящие, преданные глаза, как он мог любить других и некоторым из них придавать гораздо больше значения, чем ей!

На другой день она служила, не поднимая глаз. Казакова спросила:

— Что это ты такая, Таня?

Она покорно ответила:

— Мало ли у меня горя, барыня…

Казакова сказала ему, когда она вышла:

— Да, конечно: сирота, без матери, отец нищий, беспутный мужик…

Перед вечером, когда она ставила на крыльце самовар, он, проходя, сказал ей:

— Ты не думай, я тебя давно полюбил. Брось плакать, убиваться, этим ничему не поможешь…

Она тихо ответила, смаргивая слезы и суя в самовар пылающие щепки:

— Кабы правда полюбили, все бы легче было…

Потом она стала иногда взглядывать на него, как бы несмело спрашивать взглядом: правда?

Раз вечером, когда она вошла оправлять ему постель, он подошел к ней и обнял ее за плечо. Она с испугом взглянула на него и, вся покраснев,

прошептала:

— Отойдите за-ради Господа. Того гляди старуха зайдет…

— Какая старуха?

— Да старая горничная, будто не знаете!

— Я к тебе нынче ночью приду…

Ее точно обожгло, — первое время старуха приводила ее в ужас:

— Ох, что вы, что вы! Я с ума от страха сойду!

— Ну, не надо, не бойся, не приду, — сказал он поспешно.

Она служила теперь уже по-прежнему, скоро и заботливо, опять стала вихрем носиться через двор в кухню, как носилась прежде, и порой, улучив удобную минуту, тайком бросала на него взгляды уже смущенно-радостные. И вот однажды утром, чем свет, когда он еще спал, ее отправили в город за покупками. За обедом Казакова сказала:

— Что делать, старосту с работником я отослала на мельницу, некого послать за Таней на станцию. Может, ты бы съездил?

Он, сдержав радость, ответил с притворной небрежностью:

— Что ж, охотно проедусь.

Старая горничная, подававшая на стол, нахму-

рилась:

— За что ж вы, сударыня, хотите девку навек осрамить? Что ж после этого начнут говорить про нее по всему селу?

— Ну, поезжай сама, — сказала Казакова. — Что ж ей, пешком, что ли, со станции идти?

Около четырех он выехал, в шарабане, на старой высокой черной кобыле и, боясь опоздать к поезду, погнал ее за селом шибко, подскакивая по маслянистой, колчеватой, подмерзшей и потом отсыревшей дороге, — последние дни были влажные, туманные, а в тот день туман был особенно густ: еще когда он ехал по селу, казалось, что наступает ночь, и в избах уже видны были дымно-красные огни, какие-то дикие за сизостью тумана. Дальше, в поле, стало совсем почти темно и от тумана уже непроглядно. Навстречу тянуло холодным ветром и мокрой мглой. Но ветер не разгонял тумана, напротив, нагонял все гуще его холодный, темно-сизый дым, душил им, его пахучей сыростью, и казалось, что за его непроглядностью нет ничего — конец мира и всего живого. Картуз, чуйка, ресницы, усы, все было в мельчайшем мокром бисере. Черная кобыла размашисто неслась вперед, шарабан, подскакивая по скользким колчам, бил ему в грудь. Он

приловчился и закурил — сладкий, душистый, теплый, человеческий дым папиросы смешался с первобытным запахом тумана, поздней осени, мокрого голого поля. И все темнело, все мрачнело вокруг, вверху и внизу, — почти не стало видно смутно темнеющей длинной шеи лошади, ее настороженных ушей. И все усиливалось чувство близости к лошади — единственному живому существу в этой пустыне, в мертвой враждебности всего того, что справа и слева, впереди и сзади, всего того неведомого, что так зловеще скрыто в этой все гуще и чернее бегущей на него дымной тьме…

Когда он въехал в деревню при станции, его охватила отрада жилья, жалких огней в убогих окошечках, их ласкового уюта, а на станции все вокзальное показалось совсем иным миром, живым, бодрым, городским. И не успел он привязать лошадь, как, гремя, засверкал к вокзалу светлыми окнами поезд, обдав серным запахом каменного угля. Он побежал в вокзал с таким чувством, точно ждал молодую жену, и тотчас увидел, как вошла она, по-городскому одетая, из противоположных дверей вслед за вокзальным сторожем, тащившим два кулька покупок: вокзал был грязен, вонял керосином ламп, тускло

освещавших его, а она вся сияла возбужденными глазами, юностью взволнованного необычным путешествием лица, и сторож что-то говорил ей на “вы”. И она вдруг встретилась с ним взглядом и даже остановилась от растерянности: что такое, почему он тут?

— Таня, — поспешно сказал он, — здравствуй, я за тобой, некого было послать…

Был ли когда-нибудь в жизни у нее столь счастливый вечер! Он сам приехал за мной, а я из города, к наряжена и так хороша, как он и представить себе не мог, видя меня всегда только в старой юбчонке, в ситцевой бедной кофточке, у меня лицо, как у модистки, под этим шелковым белым платочком, я в новом гарусном коричневом платье под суконной жакеткой, на мне белые бумажные чулки и новые полсапожки с медными подкопками! Вся внутренне дрожа, она заговорила с ним таким тоном, каким говорят в гостях, и, приподняв подол, пошла за ним дамскими шажками, снисходительно дивясь: “Ох, Господи, как тут склизко, как натоптали мужики!” Вся замирая от радостного страха, высоко подняла она платье над белой коленкоровой юбкой, чтобы сесть на юбку, а не на платье, вошла в шарабан и села рядом с ним, будто равная ему, и неловко

подобралась от кульков в ногах.

Он молча тронул лошадь и погнал ее в ледяную тьму ночи и тумана, мимо кое-где низко мелькавших огоньков в избах, по ухабам этой мучительной деревенской ноябрьской дороги, и она не смела слова проронить, ужасаясь его молчанию: уж не рассердился ли он на что-нибудь? Он это понимал и нарочно молчал. И вдруг, выехав за деревню и погрузившись уже в подлый мрак, перевел лошадь на шаг, взял вожжи в левую руку и сжал правой ее плечи в осыпанной холодным мокрым бисером жакетке, бормоча и смеясь:

— Таня, Танечка…

И она вся рванулась к нему, прижалась к его щеке шелковым платком, нежным пылающим лицом, полными горячих слез ресницами. Он нашел ее мокрые от радостных слез губы и, остановив лошадь, долго не мог оторваться от них. Потом, как слепой, не видя ни зги в тумане и мраке, вышел из шарабана, бросил чуйку на землю и потянул ее к себе за рукав. Все сразу поняв, она тотчас соскочила к нему и, с быстрой заботливостью подняв весь свой заветный наряд, новое платье и юбку, ощупью легла на чуйку, навеки отдавая ему не только все свое тело, теперь уже полную собственность его, но и всю свою душу.

Он опять отложил свой отъезд.

Она знала, что это ради нее, она видела, как он ласков с ней, говорит уже как с близкой, своим тайным другом в доме, и перестала бояться, трепетать, когда он подходил к ней, как трепетала первое время. Он стал спокойнее и проще в любовные минуты — она быстро приладилась к нему. Она вся изменилась с той быстротой, на какую способна молодость, сделалась ровна, беззаботно-счастлива, уже легко называла его Петрушей и порой даже притворялась, будто он докучает ей своими поцелуями: “Ах, Господи, проходу мне от вас нету! Чуть завидит меня одну — сейчас ко мне!” — и это доставляло ей особенную радость: значит, он любит меня, значит, он совсем мой, если я могу говорить с ним так! И еще было счастье: высказывать ему свою ревность, свое право на него:

— Слава Богу, нету никаких работ на гумне, а то, были бы девки, я бы вам показала, как ходить к ним! — говорила она.

И прибавляла, вдруг смутившись, с трогательной попыткой улыбки:

— Ай вам мало меня одной?

Зима наступила рано. После туманов завернул морозный северный ветер, сковал маслянистые

колчи дорог, окаменил землю, сжег последнюю траву в саду и на дворе. Пошли белесо-свинцовые тучи, совсем обнажившийся сад шумел беспокойно, торопливо, точно убегал куда-то, ночью белая луна так и ныряла в клубах туч. Усадьба и деревня казались безнадежно бедны и грубы. Потом стал порошить снег, убеляя мерзлую грязь точно сахарной пудрой, и усадьба и видные из нее поля стали сизо-белы и просторны. На деревне кончали последнюю работу — ссыпали в погреба на зиму картошки, перебирая их, отбрасывая гнилые. Как-то он пошел пройтись по деревне, надев поддевку на лисьем меху и надвинув меховую шапку. Северный ветер трепал ему усы, жег щеки. Надо всем висело угрюмое небо, сизо-белое покатое поле за речкой казалось очень близким. В деревне лежали на земле возле порогов веретья с ворохами картошек. На веретьях сидели, работая, бабы и девки, закутанные в пеньковые шали, в рваных куртках, в разбитых валенках, с посиневшими лицами и руками, — он с ужасом думал: а под подолами у них совсем голые ноги!

Когда он пришел домой, она стояла в прихожей, обтирая тряпкой кипящий самовар, чтобы нести его на стол, и тотчас сказала вполголоса:

— Это вы, верно, на деревню ходили, там девки

картошки перебирают… Что ж, гуляйте, гуляйте, высматривайте себе какую получше!

И, сдерживая слезы, выскочила в сенцы. К вечеру густо, густо повалил снег, и, пробегая мимо него по залу, она взглянула на него с неудержимым детским весельем и, дразня, шепнула:

— Что, много теперь нагуляетесь? Да то ли еще будет — собаки по всему двору катаются — понесет такая кура, что и носу из дому не высунете!

“Господи, — подумал он, — как же я соберусь с духом сказать ей, что вот-вот уеду!”

И ему страстно захотелось быть как можно скорее в Москве. Мороз, метель, на площади, против Иверской, парные голубки с бормочущими бубенчиками, на Тверской высокий электрический свет фонарей в снежных вихрях… В Большом Московском блещут люстры, разливается струнная музыка, и вот он, кинув меховое оснеженное пальто на руки швейцарам, вытирая платком мокрые от снега усы, привычно, бодро входит по красному ковру в нагретую людную залу, в говор, в запах кушаний и папирос, в суету лакеев и все покрывающие, то распутно-томные, то залихватски-бурные струнные волны…

Весь ужин он не мог поднять глаз на ее беззаботную беготню, на ее успокоившееся лицо.

Поздно вечером он надел валенки, старую енотовую шубу покойного Казакова, надвинул шапку и через заднее крыльцо вышел на вьюгу — дохнуть воздухом, посмотреть на нее. Но под навес крыльца уже нанесло целый сугроб, он споткнулся в нем и набрал целые рукава снега, дальше был сущий ад, белое несущееся бешенство. Он с трудом, утопая, обошел дом, добрался до переднего крыльца и, топая, отряхиваясь, вбежал в темные сенцы, гудевшие от бури, потом в теплую прихожую, где на рундуке горела свеча. Она выскочила из-за перегородки босая, в той же бумазейной юбчонке, всплеснула руками:

— Господи! Да откуда ж это вы!

Он сбросил на рундук шубу и шапку, осыпав его снегом, и в сумасшедшем восторге нежности схватил ее на руки. Она в таком же восторге вырвалась, схватила веник и стала обивать его белые от снега валенки и тащить их с ног:

— Господи, и там полно снегу! Вы насмерть простудитесь!

Ночью, сквозь сон, он иногда слышал: однообразно шумит с однообразным напором на дом, потом бурно налетает, сыплет стрекочущим снегом в ставни, потрясая их, — и падает, отдаляется, шумит усыпительно… Ночь кажется

бесконечной и сладкой — тепло постели, тепло старого дома, одинокого в белой тьме несущегося снежного моря…

Утром показалось, что это ночной ветер со стуком распахивает ставни, бьет ими в стены — открыл глаза — нет, уже светло, и отовсюду глядит в залепленные снегом окна белая, белая белизна, нанесенная до самых подоконников, а на потолке лежит ее белый отсвет. Все еще шумит, несет, но тише и уже по-дневному. С изголовья тахты видны напротив два окна с двойными почерневшими от времени рамами в мелкую клетку, третье, влево от изголовья, белее и светлее всего. На потолке этот белый отсвет, а в углу дрожит, гудит и постукивает втягиваемая разгорающимся огнем заслонка печки — как хорошо, он спал, ничего не слыхал, а Таня, Танечка, верная, любимая, растворила ставни, потом тихо вошла в валенках, вся холодная, в снегу на плечах и на голове, закутанной пеньковым платком, и, став на колени, затопила. И не успел он подумать, как она вошла, неся поднос с чаем, уже без платка. С чуть заметной улыбкой взглянула, ставя поднос на столик у изголовья, в его по-утреннему ясные, со сна точно удивленные глаза:

— Что ж вы так заспались?

— А который час?

Посмотрела на часы на столике и не сразу ответила — до сих пор не сразу разбирает, который час:

— Десять… Без десяти минут девять…

Взглянув на дверь, он потянул ее к себе за юбку. Она отклонилась, отстраняя его руку:

— Никак нельзя, все проснулись…

— Ну, на одну минуту!

— Старуха зайдет…

— Никто не зайдет — на одну минуту!

— Ах, наказанье мне с вами!

Быстро вынув одну за другой ноги в шерстяных чулках из валенок, легла, озираясь на дверь… Ах, этот крестьянский запах ее головы, дыхания, яблочный холодок щеки! Он сердито зашептал:

— Опять ты целуешься со сжатыми губами! Когда я тебя отучу!

— Я не барышня… Погодите, я пониже ляжу… Ну, скорее, боюсь до смерти.

И они уставились друг другу в глаза — пристально и бессмысленно, выжидательно.

— Петруша…

— Молчи. Зачем ты говоришь всегда в это время!

— Да когда ж мне и поговорить с вами, как не

в это время! Я не буду больше губы сжимать… Поклянитесь, что у вас никого нету в Москве…

— Не тискай меня так за шею.

— Никто в жизни не будет так любить вас. Вот вы в меня влюбились, а я будто и сама в себя влюбилась, не нарадуюсь на себя… А если вы меня бросите…

Выскочив с горячим лицом под навес заднего крыльца на вьюгу, она, стоя, присела на мгновенье, потом кинулась навстречу белым вихрям на переднее крыльцо, утопая выше голых колен.

В прихожей пахло самоваром. Старая горничная, сидя на рундуке под высоким окном в снегу, схлебывала с блюдечка и, не отрываясь от него, покосилась:

— Куда это тебя носило? Вся в снегу вывалялась.

— Петру Николаичу чай подавала.

— Что ж ты ему в людскую, что ль, подавала? — Знаем мы твой чай!

— Ну, знаете, и на здоровье. Барыня встали?

— Хватилась! Пораньше тебя.

— И все-то вы сердитесь!

И, счастливо вздохнув, она пошла за перегородку, за своей чашкой, и чуть слышно запела там:

Уж как выйду я в сад,

Во зеленый сад,
Во зеленый сад гулять,
Свово милова встречать…

Днем, сидя в кабинете за книгой, слушая все тот же то слабеющий, то угрожающе растущий шум вокруг дома, все больше тонувшего в снегах среди со всех сторон несущейся молочной белизны, он думал: как стихнет, так уеду.

Вечером он улучил минуту сказать ей, чтобы она пришла к нему ночью попозднее, когда дом крепче всего спит, — на всю ночь, до утра. Она покачала головой, подумала и сказала: хорошо. Это было очень страшно, но тем слаще.

То же чувствовал и он. И волновала еще жалость к ней: и не знает, что это их последняя ночь!

Ночью он то засыпал, то в тревоге просыпался: решится ли прийти? Тьма дома, шум вокруг этой тьмы, трясутся ставни, в печке то и дело завывает… Вдруг он в страхе очнулся: не услыхал, — услыхать ее в той преступной осторожности, с которой она пробиралась в густой темноте по дому, нельзя было, — не услыхал, а почувствовал, что она, невидимая, уже стоит у тахты. Он протянул руки. Она молча нырнула под одеяло к нему. Он слышал, как стучит ее сердце, чувствовал ее

озябшие босые ноги и шептал самые горячие слова, какие только мог найти и выговорить.

Они долго лежали так, грудь с грудью, целуясь с такой крепостью, что больно было зубам. Она помнила, что он не велел ей сжимать рот, и, стараясь угодить ему, раскрывала его, как галчонок.

— Ты, небось, совсем не спала?

Она ответила радостным шепотом:

— Ни минуточки. Все ждала…

Нашарив на столике спички, он зажег свечу. Она в страхе ахнула:

— Петруша, что ж это вы сделали? А ну-ка старуха проснется, увидит свет…

— Черт с ней, — сказал он, глядя на ее раскрасневшееся личико. — Черт с ней, я хочу видеть тебя…

Взяв ее, он не спускал с нее глаз. Она прошептала:

— Я боюсь, — что это вы на меня так смотрите?

— Да то, что лучше тебя на свете нет. Эта головка с этой маленькой косой вокруг нее, как у молоденькой Венеры…

Глаза ее засияли смехом, счастьем:

— Какая это Винера?

— Да уж такая… И эта рубашонка…

— А вы купите мне миткалевую… Верно, вы

правда меня очень любите?

— Нисколько не люблю. И опять ты пахнешь не то перепелом, не то сухой коноплей…

— Отчего ж вам это нравится? Вот вы говорили, что я всегда говорю в это время… а теперь… сами говорите…

Она начала все крепче прижимать его к себе, хотела еще что-то сказать и уже не могла…

Потом он потушил свечу и долго лежал молча, курил и думал: а все-таки надо сказать, ужасно, но надо! И чуть слышно начал:

— Танечка…

— Что? — так же таинственно спросила она.

— Ведь мне надо уезжать…

Она даже поднялась:

— Когда?

— Все-таки скоро… очень скоро… У меня есть неотложные дела…

Она упала на подушку:

— Господи!

Его какие-то дела где-то там, в какой-то Москве, внушали ей нечто вроде благоговения. Но как же все-таки расстаться с ним ради этих дел? И она замолчала, быстро и беспомощно ища в уме выхода из этого неразрешимого ужаса. Выхода не было. Хотелось крикнуть: “Возьмите меня с

собой!” Но она не смела — разве это возможно?

— Не могу же я век тут жить…

Она слушала и соглашалась: да, да…

— Не могу же я взять тебя с собой… Она вдруг отчаянно выговорила:

— Почему?

Он быстро подумал: “Да, почему, почему?” И поспешно ответил:

— У меня нет дома, Таня, я всю жизнь езжу с места на место… В Москве живу в номерах… И ни на ком никогда не женюсь…

— Отчего?

— Оттого, что уж такой я родился.

— И ни на ком никогда не женитесь?

— Ни на ком, никогда! И даю тебе честное слово, мне, ей-Богу, необходимо, очень важные и неотложные дела. К Рождеству непременно приеду!

Она припала головой к нему, полежала, капая на его руки теплыми слезами, и прошептала:

— Ну, я пойду… Скоро светать начнет… И, поднявшись, стала в темноте крестить его:

— Сохрани вас Царица Небесная, сохрани Матерь Божия!

Прибежав к себе за перегородку, она села на постель и, прижав к груди руки, слизывая с губ слезы, стала шептать под гул метели в сенцах:

— Господи батюшка! Царица Небесная! Дай, Господи, чтоб не утихало хоть еще дня два!

Через два дня он уехал, — еще проносились по двору утихающие вихри, но он не мог больше длить тайное мучение ее и свое и не сдался на уговоры Казаковой подождать хоть до завтра.

И дом и вся усадьба опустели, умерли. И представить себе Москву и его в ней, его жизнь там, его какие-то дела, не было никакой возможности.

На Рождество он не приехал. Что это были за дни! В какой муке неразрешающегося ожидания, в каком жалком притворстве перед самой собой, будто и нет никакого ожидания, шло время с утра до вечера! И все Святки она ходила в самом лучшем своем наряде — в том платье и в тех полсапожках, в которых он встретил ее тогда осенью, на вокзале, в тот незабвенный вечер.

На Крещенье она почему-то жадно верила, что вот-вот покажутся из-под горы мужицкие санки, которые он наймет на станции, не прислав письма, чтобы за ним выслали лошадей, весь день не вставала с рундука в прихожей, глядя во двор до боли в глазах. Дом был пуст, — Казакова уехала в гости к соседям, старуха обедала в людской, сидела там и после обеда, наслаждаясь злословием

перед кухаркой. А она даже и обедать не ходила, сказала, что живот болит…

Но вот стало вечереть. Она взглянула еще раз на пустой двор в блестящем насте и поднялась, твердо сказав себе: конец, никого мне больше не нужно, ничего не желаю я ждать! — и пошла, наряженная, гуляющим шагом по залу, по гостиной, в свете зимней, желтой зари из окон, громко и беззаботно запела — с облегчением конченой жизни:

Уж как выйду я в сад,
Во зеленый сад,
Во зеленый сад гулять,
Свово милова встречать!

И как раз на словах о милом вошла в кабинет, увидала его пустую тахту, пустое кресло возле письменного стола, где когда-то сидел он с книгой в руках, и упала в кресло, головой на стол, рыдая и крича: “Царица Небесная, пошли мне смерть!”

Он приехал в феврале — когда она уже совсем похоронила в себе всякую надежду увидать его хоть еще один раз в жизни.

И как будто возвратилось все прежнее.

Он был поражен, увидя ее, — так похудела и поблекла она вся, так несмелы и грустны были ее глаза. Поразилась и она в первую минуту: и он

показался ей как будто другим, постаревшим, чужим и даже неприятным — усы у него стали как будто больше, голос грубей, его смех и разговор, пока он раздевался в прихожей, были не в меру громки и неестественны, ей неловко было взглянуть ему в глаза… Но оба постарались скрыть все это друг от друга, и вскоре все пошло как будто по-прежнему.

Потом опять стало подходить страшное время — время его нового отъезда. Он поклялся ей на образ, что приедет к Святой и уже на целое лето. Она поверила; но подумала: “А летом что будет? Опять то же, что теперь?” Этого теперь ей было уже мало — нужно было или совсем, совсем прежнее, а не повторение, или нераздельная жизнь с ним, без разлук, без новых мучений, без стыда напрасных ожиданий. Но она старалась гнать от себя эту мысль, старалась представить себе все то летнее счастье, когда столько будет им свободы везде… — ночью и днем, в саду, в поле, на гумне, и он будет долго, долго возле нее…

Накануне его нового отъезда ночь была уже предвесенняя, светлая и ветреная. За домом волновался сад, и все долетал оттуда разносимый ветром злой и беспомощный, отрывистый лай собак над ямой в елках: там сидела лисица, кото-

рую поймал в капкан и принес на барский двор лесник Казаковой.

Он лежал на тахте на спине с закрытыми глазами. Она рядом с ним на боку, подложив ладонь под грустную головку. Оба молчали. Наконец она прошептала:

— Петруша, вы спите?

Он открыл глаза, посмотрел в легкий сумрак комнаты, слева озаренный золотистым светом из бокового окна:

— Нет. А что?

— А ведь вы меня больше не любите, даром погубили, — спокойно сказала она.

— Почему же даром? Не говори глупостей.

— Грех вам будет. Куда ж я теперь денусь?

— А зачем тебе куда-нибудь деваться?

— Вот вы опять, опять уедете в эту свою Москву, а что ж я одна тут буду делать!

— Да все то же, что и прежде делала. А потом — ведь я тебе твердо сказал: на Святой на целое лето приеду.

— Да, может, и приедете… Только прежде вы мне не говорили таких слов: “А зачем тебе куда-нибудь деваться?” Вы меня правда любили, говорили, что милей меня не видали. Да и такая я разве была?

Да, не такая, подумал он. Ужасно изменилась.

— Прошло мое времечко, — сказала она. — Вскочу, бывало, к вам — и боюсь до смерти и радуюсь: ну, слава Богу, старуха заснула. А теперь и ее не боюсь…

Он пожал плечами:

— Я тебя не понимаю. Дай-ка мне папиросы со столика…

Она подала. Он закурил:

— Не понимаю, что с тобой. Ты просто нездорова…

— Вот оттого-то, верно, и не мила я вам стала. А чем же я больна?

— Ты меня не понимаешь. Я говорю, что ты душевно нездорова. Потому что подумай, пожалуйста, что такое случилось, откуда ты взяла, что я тебя больше не люблю? И что ж все одно и то же твердить: бывало, бывало…

Она не ответила. Светило окно, шумел сад, долетал отрывистый лай, злой, безнадежный, плачущий… Она тихонько слезла с тахты и, прижав рукав к глазам, подергивая головой, мягко пошла в своих шерстяных чулках к дверям в гостиную. Он негромко и строго окликнул ее:

— Таня.

Она обернулась, ответила чуть слышно:

— Чего вам?

— Поди ко мне.

— Зачем?

— Говорю, поди.

Она покорно подошла, склонив голову, чтобы он не видал, что все лицо у нее в слезах.

— Ну, что вам?

— Сядь и не плачь. Поцелуй меня, — ну? Он сел, она села рядом и обняла его, тихо рыдая. “Боже мой, что же мне делать! — с отчаянием подумал он. — Опять эти теплые детские слезы на детском горячем лице… Она даже и не подозревает всей силы моей любви к ней! А что я могу? Увезти ее с собой? Куда? На какую жизнь? И что из этого выйдет? Связать, погубить себя навеки?” И стал быстро шептать, чувствуя, как и его слезы щекочут ему нос и губы:

— Танечка, радость моя, не плачь, послушай: я приеду весной на все лето, и вот правда пойдем мы с тобой “во зеленый сад” — я слышал эту твою песенку и вовеки не забуду ее, — поедем на шарабане в лес — помнишь, как мы ехали на шарабане со станции?

— Никто меня с тобой не пустит! — горько прошептала она, мотая на его груди головой, в первый раз говоря ему “ты”. — И никуда ты со

мной не поедешь…

Но он уже слышал в ее голосе робкую радость, надежду.

— Поеду, поеду, Танечка! И не смей мне больше говорить “вы”. И плакать не смей…

Он взял ее под ноги в шерстяных чулках и пересадил ее, легонькую, к себе на колени:

— Ну скажи: “Петруша, я тебя очень люблю!”

Она тупо повторила, икнув от слез:

— Я тебя очень люблю…

Это было в феврале страшного семнадцатого года. Он был тогда в деревне в последний раз в жизни.

22 октября 1940